

Дмитрий Моисеев

---

# Сборник рассказов



# Дмитрий Моисеев

## Сборник рассказов

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=8592848](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8592848)*

*ISBN 9785447403126*

### Аннотация

Три истории трех разновозрастных мужчин, единых в грустных мелодиях жизни. Аллергия: Он очень болен. Неизлечимо. У него аллергия, но он не желает избавления от недуга. Паразиты: Он прост и обыкновенен до безобразия. Однажды он получает шанс обрести уникальность, но ради этого ему предстоит участие в опасном эксперименте. Убить вождя: Он юн, хмур и зол на весь мир. Он мечтает о переменах, и судьба дарует ему такую возможность.

# Содержание

Аллергия	5
Конец ознакомительного фрагмента.	32

# **Сборник рассказов**

**Дмитрий Моисеев**

© Дмитрий Моисеев, 2018

ISBN 978-5-4474-0312-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# Аллергия

***Аллергия:** (нач. XX века) Научнолат. *allergia* – «аллергия» – образовано австрийским врачом К. Пирке в 1906 г. на базе греч. *allos* – «другой» и *ergon* – «действие».*

***Аллергия:** ненормальная, болезненная реакция организма (сыпь, отеки, кашель и т. п.) на некоторые химические соединения (аллергены).  
**Толковый словарь русского языка***

...Пуст и тревожен больничный сон. Глух он к несчастным немощных и хворых, черств его вкус и грязен запах. Бесстрастно бьется во впалой груди его оледенелое палаческое сердце. Нет в нем благодатной отдушины, нет двери в лето, на земляничные поля успокоения, где танцуют кузнечики и стрекозы, где тракторно урчат гладколобые жуки-бронзовки, а шелкокрылые бабочки обнажают небритые лапки в разноцветных завихрениях воздушного канкана. Где россы отражают слезы позабытого божества, травы пахнут эротикой и медом, а ягодные ароматы накручивают лекарственные повязки на запаршивевшие тела узников болезни...

Вреден сон больницы, по-детски капризен и по-стариковски зол. Как гигиеническая прокладка налит он стонами страдальцев, изломан хрустом зубовым и скрежетом, бодрым храпом выздоравливающих и безмолвным воем обре-

ченных. Таинственный демиург смастерил его из боли, бинтов и таблеток, а еще, насмешки ради, кинул в получившийся винегрет ядовитую щепотку надежды...

Я ненавижу больничный сон, но привык к его еженощному безобразию. Жизненный узор сложился таким образом, что больницы, а заодно и сон их местный, привинченный к лекарням узами и правами собственности, превратились для меня из неприятного форс-мажора в обязательную процедуру выживания.

*Завсегдатая лечебных учреждений*, это обо мне. Прописался я в них, прижился. Каждая прикормленная добродушными медсестричками собака знает мой запах, в котором мало уже осталось от запаха человека, а больше имеется от грустного трупа, бесцеремонно упрятанного в мутную ванну с формальдегидом. Часто бывает, что брожу я по асфальтовым дорожкам очередной лечебницы, а шерстистые твари с блохами и вихлястыми хвостами провожают меня жалостливыми взглядами, словно хотят пролаять: «Может загрызть тебя, человеке?! Ведь нет больше сил нюхать муки твои тяжкие!»

Я привык, потому никогда и не жалеюсь. Не к кому мне обратиться с апелляцией или мольбой, не к кому протянуть ладони мозолистые с мечтою о помощи! Не к кому, да, впрочем, и незачем. Я пересек Рубикон средних лет, но настоящих друзей не нашёл, а с кровными родственниками дружбы не завёл. Я одинок, и жизнь обучила меня со спартанской

стойкостью переносить испытания. С достоинством мученика веры принимаю я жестокость ее подарков и не расстраиваюсь, как не расстраивается подросший уже ребенок, обнаружив под блескучим конфетным фантиком не сладкий батончик шоколада, а липкий кусок размякшего пластилина. Бывает, конечно, что неосторожная слезинка вдруг выпрыгивает из коричневоглазой радужки, но я всякий раз загоняю беглянку обратно. Право на слезы я потерял. Шесть лет назад лишился я этой привилегии слабых, выжав из недр своего организма весь отмеренный запас соленой воды успокоения...

*Вдовец с шестилетним стажем*, это тоже обо мне. В один из осенних дней, когда тараторил по лужам дождь, размокал асфальт, а бородатые дворники копались в кучах золоченой листвы, жена Марина оставила мой мир, следуя требовательному зову уставшего сердца. Инфаркт разорвал его пополам, и меня утешало лишь то обстоятельство, что боли она не испытала. Всю Маринкину боль принял я... И дети... Наши осиротевшие детки – Танюша и Мишенька.

Со дня смерти моей Мариночки стерлось шесть полных лет, а я так и не победил утрату. Иногда, под воздействием алкоголя или депрессии, когда голова наиболее доступна самоуничтожению, мозг мой жалит бесовская мысль: «Все ли возможное сделал я ради жизни любимой женщины?». Шесть лет я не нахожу ответа.

Сейчас три восемнадцать ночи, а я даже и не пытался

укладываться в кровать. Одетый в полосатую пижаму стою я столбом в полумраке курилки и нюхаю запахи сгорающего табака. На худых ногах моих стоптанные, мягкие тапочки, что подарила на позапрошлый день рождения дочка. Рыжеволосые фонарные головы заглядывают в зарешеченное окошечко, скупо освещают бетонную обитель моей задымленной бессонницы, но я не рад фальшивому свету. Прищурившись, я поочередно поглядываю на тапочки и металлическую плевательницу, чья отчужденность очень мне импонирует.

«Мы с нею похожи, – думаю я и запускаю окурочек в распахнутую глотку моей безжизненной компаньонки. – Между нами столько общего. Оба мы знаем смысл своего рождения. Выданные роли не доставляют радости, но не пытаемся мы что-либо изменить, смирившись с неизбежностью и... проиграв...»

Кружится голова, но я закуриваю новую сигарету. Все этой майской ночью плохо! Остеохондроз мнет позвоночник, голод грызет язвенный желудок. Острая болевая булавка без повода и причины вонзается в печень. Кислый привкус никотина провоцирует изжогу, единственным спасением от которой выступает пепел, но пепел противен, а вдобавок я не желаю испачкать рот. Очень хочется спать, но кошмары больничного сна обладают наивысшим приоритетом страха. Боязно мне припадать к подножию трона Морфея, страшусь я того безобразия, что способно выплыть из му-



сорной глубины бессознательного. Поэтому, выбирая между усталостью и сном, я всякий раз отдаю предпочтение первому.

– Ничего, потерплю, – говорю я себе и смотрю сквозь решетку на черные мазки облаков, бессистемно разбросанные по черничному небосводу. – Скоро уже отосплюсь. Вволю.

Очередной срок больничного заточения оканчивается завтра. Отпускают меня на все четыре стороны, выписывают, но эта новость не приносит радости, ведь долгожданное выздоровление по-прежнему недостижимо. Обещания врачей оказались ложью, пустыми словами, которые преподносятся обреченным вместе с подслащенным экстрактом надежды.

Я глухо кашляю и сопливо шмыгаю. Носового платка нет. Я утираюсь рукавом пижамы и тревожу плевательницу новым сигаретным бычком, абсолютно уверенный в том, что протестов с ее стороны не последует. Мне жаль замызганную урну. Жаль ее и себя. Знаю я, что нет для нас больше надежды. Мы обречены и до последнего колокола дней будем нести черные кресты своих незавидных судеб.

«В каждого из нас однажды плевали, но многие ли решились ответить на плевки?»

С такими минорными мыслями я покидаю курилку. Старенькие тапочки чуть слышно шелестят по истертому коридорному мрамору. Много больниц прошагали в них мои волосатые ноги! Сколько еще пройдут? Много, наверное. Больше, чем много. Больше, чем вынести способен немолодой

уже и недужный человек.

Временами думаю я и представляю, что в одну из таких прогулок уставший организм поддастся все же на уговоры болезни. Закроются глаза, упаду я бревном на очередные мраморные плитки, а освобожденные тапочки спрыгнут с ног, но не познают радостей вольного бытия. Брошенные на произвол судьбы, останутся они лежать в темноте, вспоминая о каждом шаге сделанном и о всяком несовершенном. Наутро, остывшее тело переключается в мертвецкую, а внимательная медсестричка поднимет тапочки, увидит, что стоптаны они, и запишет бесполезную находку в беззубую пасть очередной плевательницы.

Грустно мне от своих фантазий, иду я и кашляю. Причина кашельная не составляет для меня никакого секрета. Это от всех лишних сигарет, что выкурил я в минуты грусти. Но не могу я не грустить! Не в силах я избавиться от привычки этой, равно как и от привычки курительной. Никак не получается перебороть себя, позабыть страдания чужие и собственную боль. Да не особо и хочется перебарывать что-то или забывать! Знаю, что грустное курение убьет однажды легкие мои, но до того дня не расстанусь я с сигаретой, и будет сизый дым клубами оседать на бронхах и гортани...

Все больше и больше опутывает меня грусть, звучная такая, протяжная, музыкальная. Кажется мне, что весь я, от стоп до темечка, выдаю единый тоскливый аккорд, превратившись в первую струну на плачущей испанской гитаре.

Остановиться бы сейчас и вздохнуть протяжно, приложить руку ко лбу и щекам небритым, но нет возможности такой. Ведут меня тапочки стертые – дочкин подарок, насильно ведут знакомым маршрутом на запахи казенной бумаги, растворимого кофе и туалетной воды «Ангел Шлессер». Тащат к интересной женщине одной, нравится которая мне до чрезвычайности.

Звать эту женщину Ольга Юрьевна. Медсестричка она, добрая и отзывчивая. Хотя и знакомы мы не первый год уже, но обращаемся друг к дружке исключительно по имени-отчеству. Про себя же называю я Ольгу Юрьевну – Олей, Оленькой, а то и Олюшкой. Она рыженькая, пухленькая и конопатенькая. Красивой я ее не считаю, но привлекательна она невероятно, как самый настоящий, истинный суккуб...

Последний раз виделись мы часов восемнадцать назад. Да и не совсем чтобы виделись. Смотрел я на Олю, а она – нет.

Восемнадцать часов назад было утро. Были таблетки и процедуры. Были жалобы и просьбы. Были вопросы без ответов и ответы на вопросы. Обязательный врачебный обход находился в самом разгаре своей нервотрепки. Вдруг Антон Борисович – лечащий врач отзывает меня в сторонку. Долго смотрит поверх очков, что придают образу его излишнюю интеллигентность, пришибленность даже. Затем, краснея и дыша перегаром, выдвигает одну гипотезу.

– Понимаете, голубчик, – с улыбкой говорит он, но я вижу, что улыбка наиграна. – Много я думал о недуге вашем стран-

ном. Энциклопедии листал, по интернету шарил, со светилami медицинскими консультировался. К выводу пришел я одному, премного удивительному и не самому для вас приятному.

– Продолжайте, Борисыч, – говорю я, а сам наблюдаю в окошко за тем, как Ольга Юрьевна моет стекла на противоположной от нашего корпуса стороне больницы. Очень уж у нее это мило получается, в таком коротком халатике! Да и хорошенькая она вся такая, ну прямо как абрикосик. С тоскою вспоминаю я, что хотели однажды в любовь мы с нею поиграться, но дальше сисичного поглаживания дело так и не продвинулось. Жаль это весьма и прискорбно очень...

Еще раз кашлянул Борисыч, поправил очки и говорит:

– Думаю я, дорогой мой, что болезнь ваша не самого рода обыкновенного. Загадочный характер болезнь ваша имеет...

– Правда?! – изумляюсь я притворно, а сам продолжаю смотреть за Олечкиными телодвижениями, за крупными ее грудями, что так привлекательно трутся об умытое уже стекло.

– Так вот, – говорит доктор и дышит крепким перегаром. Часто от него перегаром пахнет, очень уж Борисыч выпить любит, «Каберне» в вопросе этом предпочитая. – Считаю я, что аллергия ваша носит исключительно психологический характер...

– Точно-точно, – киваю я и по-гусиному тяну шею

за Оленькой, что переместилась уже к следующему окошечку.

– Да, психологический и очень даже глубинный! – недовольно говорит Борисыч, будто спорю я с ним или пререкаюсь. – Глубина эта медицине пока непонятна, но думаю мне, что вызвана она вашими... кхе-кхе... детишками, сколько их там...

Договорить я ему не даю, а со всего размаху кулака ударяю прямым по переносице, точнехонько туда, где сидят эти треклятые очки. Что-то хрустит костисто, а туточки и кровь каа-ак брызганет! Поросячком взвизгивает Антон Борисович, зажимает нос и бежит по коридору, по-бабы причитая и крича, что выгонит меня из больницы к чертовой тетушке, а вдобавок заявление в милицию напишет, по факту причинения здоровью его драгоценному повреждений болезненных.

Испугался я нешуточно, но не от того, что заяву на меня накатают, а из-за того, что человеку хорошему больно сделал. Терпеть не могу я людям боль причинять, плохо мне становится от этого, но и слышать не в состоянии, когда о детях моих говорят плохо! Ведь нет в мире никого, кто бы значил для меня больше, чем детки любимые...

«На детей! – целый день повторял я, и гнев принимался булькать в животе моем голодном. – Да быть такого не может, выдумывает что-то очкарик этот, фантазирует...»

Забыл сказать вам: аллергия у меня. Очень-очень я болен!

Настольно сильно, что формулу моей болезни еще не записали в толстые и умные книги под кожаными переплетами.

Спросите вы гневно: сумасшедший ли я? Отвечу: нет. Спросите вы недовольно: издеваюсь я или глупости говорю? Повторно отвечу: нет. Спросите вы удивленно: что ж в этом такого, ведь в беспокойное время наше, промышленное и автомобилизированное, аллергией страдают многие? Покорно отвечу: да, правда ваша, многие. И я бы мог состоять в числе этих многих, и счастлив был бы от этого, но другой у меня случай, особый. Заключена беда моя в том неприятном факте, что врачи не знают *на что* именно у меня аллергия. Годы бьются они, выискивают причины, но ребус по-прежнему остается неразрешен. Раз за разом возвращаюсь я в больницы, раз за разом поправляюсь почти, выздоравливаю, но заболеваю заново.

Непросто ведь сказал я, что нет надежды. Не за ради жалости и утешающих взглядов рассказываю историю свою, да и вовсе не нужны мне они, взгляды эти и жалости ваши...

Больничный коридор насторожен и мрачен, как декорации к фильму Алфреда Хичкока. Запертые на ночь двери, выкрашенные в грязно-молочную, местами облупившуюся краску прячут за деревянными телами судьбы многих и многих разнополярных людей. Хороших и плохих, бедных и богатых, добрых и злых... Всяких разных, но похожих в болезнях своих, как бывают похожи носители чего-то однородного, вылезшего из единой изначальной утробы. Как похожи

друг на дружку все люди, позабывшие в бытовой слепоте, что братья они и сестры, а пращуры всякого – Ева и Адам...

Темен коридор. Лишь аскетичный столик дежурной живет в этом черном жерле островком дрожащего света. Дрожит люминесцентная лампа, которую электрик Семеныч – служащий больничный, все никак не решится наладить. Ох уж Семеныч этот! Лентяй он безобразный и лодырь порядочный, но человек увлекающийся. Со страстью человек, с огоньком. Целыми днями ходит он по палатам и предлагает больным отыграть с ним партию шахматную, эквивалентом денежным соперничество стимулируя. Причем постоянно проигрывает, что вовсе не охлаждает пыл его и страсть к противостояниям бескровным на черно-белых клетчатых полях.

Лампа же не разделяет электриковых увлечений. Ей не нравится быть сломанной, от работы отлынивающей. Дрожит она все сильнее и беспорядочнее, рождая тени и сомнения. На верхнем этаже тревожно трещит телефон, но никто не подходит к трубке. Уверенно шелестят мои тапочки. Неведомы им сомнения, знают они дорогу, и тьма не помеха для достижения цели. Я их люблю, и они догадываются о чувствах моих неподдельных.

Пятно света все ближе, и я с негодованием вижу, что за столиком ночного дежурного мирно посапывает Лизавета Аркадьевна.

«Вот блядство какое и гадство! – думаю я. – Сегодня разве

смена этой старой ондатры?!»

Лизавета Аркадьевна мне совершенно не нравится. Все в этой женщине, за исключением среднего возраста, вызывает во внутренностях организма моего бурный протест. Все в ней кажется мне противоестественным, не должным присутствовать ни в какой из дам или барышень.

Лизавете немного за сорок. Фамилия ее то ли Пупышкина то ли Пыпушкина, никак не получается запомнить. Внешность непривлекательна и даже больше. Нос крупный и мясистый, в черную угревую точку, словно мухами обгаженный. Губы тонкие и обветренные, похожие на парочку бледных глистов, над которыми растет неподстриженный газончик рыжеватых усиков. Глаза бесцветные и узкие, как жерла финского дзота. Красится она фиолетовыми тенями и бордовой помадой, завивает волосы на бигуди. Из одежды предпочитает брюки-клеш и короткие топики, что выставляют на всеобщее обозрение обвешенные салом бока. Во рту ее, на передних зубах живут две золотые коронки. Глупа она, зла, одинока и несчастна очень, но из той неудачливой породы, что не вызывает жалости, а отвращение будит и желание скорейшее с нею распрощаться.

Сейчас женщина спит, уперевшись лбом в лакированную столешницу и посапывая. Правая рука прикрывает недогаданный сканворд, в левой намертво зажата синяя шариковая ручка. На коротких пальцах-сосисках тускло блестят безвкусные кольца из турецкого золота. Майская ночь тепла,



но возле медсестры лежит шотландский плед, что свалился с ляжек ее мясистых и округлых коленок.

Поднимаю я плед и злобно смотрю на сканворд. Ненавижу я сканворды. Мнимая образованность заставляет граждан разукрашивать их примитивные тела закорючками разгаданных слов. Всякий раз, когда соседи по палате предлагают мне поучаствовать в мероприятии разрисовки, звучит брань. Кроссворды в этом плане значительно приличней и благородней...

Вплотную подхожу я к спящей. От женщины несет потом, табаком и неудовлетворенными желаниями. Противно это, но я наклоняюсь и дую в оттопыренное медсестринское ухо.

Лизавета вздрагивает и просыпается. Хлопает длинными ресницами, на которых хлопьями висят комки некачественной туши. Очень похожа она в этот миг на старого сома. Взгляд ее наконец приобретает осмысленность и находит меня.

– Фу ты черт, напугал! – говорит она недовольно. Голос у нее грубый и противный, точь-в-точь, как у хамоватой бабки базарной – Подкрадываешься, как жулик! Так и умереть недолго. От инфаркта.

Напоминание об инфарктах покрывает кожу холодным налетом мурашек, но в остальном я спокойно реагирую на шпильку. Годы врачуют раны, и даже самые глубокие из них затягиваются, утрачивают остроту свою и болезненность, как могут стираться кончики иглолочные под движе-

ниями напильника или рашпиля. Жаль, конечно, что раны некоторые не зарастают окончательно никогда.

– Доброй ночи, Лизавета Аркадьевна, – говорю я возможно вежливо и протягиваю плед. – Не ожидал сегодня встретить вас на дежурстве. А где Ольга Юрьевна?

– А зачем тебе Ольга? – спрашивает она с подозрением и добавляет. – Кобель.

Я скалюсь и молчу. Не знаю я, что ответить. Незачем мне Ольга Юрьевна, нет у меня к ней никакого конкретного дела. Просто приятно и хорошо находиться рядом с рыженькой медсестричкой, вдыхать запахи «Ангел Шлессера», жизнелюбия и молодости.

– Ну чего молчишь, Зыкин? – недобро спрашивает Лизавета Аркадьевна. – Ты не молчи давай, не молчи. Нет у меня времени молчание твое слушать. Бродишь все по коридорам, бродишь. А разве можно ночью по коридорам бродить?! Никак нельзя! Вот что тебе, опять не спится?!

– Не спится, – киваю я покорно. – Кофе есть?

– Какой еще тебе кофе? – удивляется она, словно впервые слышит о таком напитке. – Иди-иди отсюда. Ходишь тут, больных тревожишь-будишь. Ни днем от тебя покоя нет, ни ночью.

Я не сержусь на нее. С женщиной никто не желает отношений, вот от того-то она и бесится. От того даже в жару накрывается пледом, ища в тепле шерстяной материи недополученное тепло чьих-то мускулистых рук.

– А у меня конфеты есть, вкусные – заговорщицки шепчу я и залажу в пижамный карман.

Раз, два, три... Одна за другой ложатся на лакированную столешницу ореховые «Белочки». Знаю я, что любит Аркадьевна конфетки эти чрезвычайно. Вкусы наши по этому вопросу совпадают.

Лизавета смотрит на конфетный рядок и облизывается прямо как тигрица голодная на жирненькую антилопу.

– Так ты кофе будешь или чай? – спрашивает она недовольно, словно не в первый уже раз предлагает напитки мне разные.

– Кофе, – отвечаю я, шмыгаю и вытираюсь. Не стесняюсь я Лизаветы, не боюсь предстать пред нею в нехорошем свете невоспитанности.

Смотрит она подозрительно, но залезает в тумбочку и кружку достает. Кружка белая и пузатая, в лиловый цветочек. Мне эта посуда незнакома. Может из дому принесла ее Лизавета, специально для посетителя ночного, готового скрасить одиночество ее и тоску разбавить. Не знаю я историю кружки этой, да и без надобности мне знание такое, ненужное.

Из литрового термоса льется черная, похожая на деготь жидкость. Всякому в больнице известно, что два термоса носит на работу Лизавета. Чай в одном несладкий, а во втором кофе. Смеются все над этой привычкой Аркадьевны, а она по-ребячески дуется.

– Спасибо, – говорю я, беру кружку протянутую и принимаюсь пить.

Кофе сладит, но не обращаю я внимание на лишний сахар. Переслащенный кофе все же лучше, чем несладкий чай.

– Как там твоя аллергия, Зыкин? – спрашивает Лизавета Аркадьевна.

– Нормально, – отвечаю я. – Все опять поправилось. Выписывают меня. Утром.

– Ну-ну, – говорит она, разжимает бледных глистов своих и закидывает в рот подтаявшую конфетку.

Молчим. Думаем. Не знаю, о чем она, но я думаю о грустном. Мне жаль эту женщину – некрасивую и злую, зациклившуюся на желаниях неудовлетворенных и видящую в каждом мужчине врага или потенциального партнера. Представил я, как возвращается она после работы в свой холодный дом, завивает волосы на бигуди и плачет в синтетическую подушку, но синтетика не впитывает слезы. Так и засыпает наплакавшаяся Лизавета на мокрой подушке и снятся ей всякие аморальные вещи.

Вижу я, что сильно устала медсестра. От жизни своей безрадостной и от одиночества. Мало кто в одиночестве способен существовать и нервы сохранить в порядке должном. Редки такие люди, вымирающий они вид на карте человечества.

«Мы с нею так похожи, – думаю я, и грусть продолжает влезать в душу мою облаками ядовитого газа. – В желаниях

естественных и неудовлетворенных, в одиночествах и слезах подушечных. Одно лишь обстоятельство рознит нас – детки мои любимые, у Лизаветы нет которых...»

– Спите, Аркадьевна, – как можно мягче говорю я, подавшись приступу внезапного альтруизма. – Спокойно спите, а я покараулю. Если случится что – сразу же разбужу.

Лизавета жует «Белочку» и смотрит на меня рыбьим своим взглядом, который по мнению ее к завлекающим относится.

– Станный ты, Зыкин, – говорит она. – Никак не могу понять, что ты из себя представляешь. Добрый ты что ли, заботливый?

– Нет, – говорю. – Грустный я.

Ничего она не понимает, но никаким образом не комментирую я слова сказанные, а внимательно разглядываю бледные губы женщины, испачканные шоколадом. Хотят эти губы поцелуев, но получают взамен лишь шоколад...

Лизавета уснула быстро, а я просидел около столика до самого утра, дважды поднимая упавший плед и накрывая им толстые ноги этой некрасивой женщины, так на меня похожей...

Уже начали хлопать двери. Уже больные побрели в умывальники и туалеты, а я все сидел и сидел...



Вещей у меня немного. Незачем в больнице хлам копить, не к чему обзаводиться добром ненужным и бесполезной рухлядью. Маленький чемоданчик с нижним бельем, сумочка на замочке-молнии с туалетными принадлежностями да томик стихов Александра Блока. Вот и все мое имущество.

Собран мой чемоданчик уже целых три дня. Преспокойно лежит он под койкой, готовый к сегодняшней выписке. Да и я готов давно. Нет у меня здесь никаких дел, нет больше смысла терзаться бессонницей и ловить за хвосты фантомные призраков надежды иллюзорной. Враками все оказалось, грубостью врачебной и ложью белохалатной.

Одежда гражданская загодя у меня получена, поглажена и на спинку стула повешена. Натягиваю я сперва носки белые в сеточку, чтоб ноги мои волосатые не потели. Одеваю брюки сливочно-кофейного цвета да рубаху белую с рукавом коротким и горизонтальными полосами бежевыми. Обуваю туфли остроносые, гвоздиками металлическими подбитые. Пихаю пижаму в чемоданчик, придавливаю сверху тапочками потертыми. Все готово. Можно идти на выход.

Соседей в палате нет, ушли они все на процедуры разные, на завтраки некалорийные или в курилку. Хорошо это, спокойно. Не нужны мне сейчас слова неискренние и прощания радушные. Пошло это, глупо и неинтересно.

Да и во всей больнице лишь к двоим людям душа у меня лежит. К Оленьке Юрьевне, да старичку одному, Куренкову Петру Архипычу. Вот с ними бы свиделся я напоследок, да только не стану никогда специально встречи искать. Не в моих это правилах, напрашиваться на встречи и в гости приходить без приглашения.

Веселый старик этот Петр Архипыч, шkodливый и жизнерадостный. Знает он достоверно, что недолго жить ему осталось. Сосуд у него в голове какой-то лопнул и нельзя никак заменить сосудик этот или заштопать. Однако не тужит старик, не расстраивается. Каждый день превращает он в праздник. Каждый день шутки выкидывает да розыгрыши разные исполняет. Весело с ним всегда, незаметно времечко пролетает и легче переносятся невзгоды больничные.

Выхожу я в коридор. Не таков он, как ночью, полон народу суесящегося, бредущего и спешащего по разным делам лечебным. Нет в нем сомнений сейчас и теней, нет ламп моргающих и недовольных. Иду я по знакомым плитам мраморным, но не слышу шелеста тапочек моих стоптанных. Стучат вместо них каблуки подкованные. Грустно мне от этого, будто не я иду, а кто-то другой и незнакомый вовсе.

Вдруг рука чья-то грубая на плечо мне ложится. Поворачиваюсь и вижу: собственной персоной стоит предо мною Петр Архипыч и скалит зубы желтые и прокуренные.

– Кудыть это ты, Женька, намылылся-намарафетился?! – спрашивает он хитро. – Никак выписываться собрался,

со мною не попрощавшись?!

– Ага, – говорю. – Выписываться, но думаю, что ненадолго это, и встретимся мы с вами, Архипыч, вскорости. Потому и прощание неуместно, а вдобавок и глупо.

– Эх, Женька! – говорит он с тоскою, но в глазах его мутно-голубых прыгают забавные чертики. – Дорогой товарищ мой Евгений! Чувствую, что не свидимся более мы никогда и эта наша встреча случайная – последняя. Нет никаких больше сил моих бороться с болезнью.

– Загнули вы это, Архипыч, – говорю я. – Встретимся еще, обязательно. Ведь трижды было уже так.

– Э-эх! – машет рукой старик. – В этот раз по-другому все. Чувствую я, самым нутром чувствую. Ведь знаешь ты, Женька, у меня – сосуд...

– Ага, – говорю. – Знаю.

– Вот знать то ты это знаешь, а представляешь ли на самом деле, что это такое?! Это ведь не хухры-мухры, не елки-палки и не черти что, а самый натуральный *сосуд*!

– Ага, – говорю. – Знаю.

Вижу я чертиков веселых в глазах стариковских. Вижу, что шутку он новую готовит, но не до шуток мне сейчас. Грустно мне очень, а общеизвестно, что для увеселений и забав должное настроение требуется, подходящее.

– До свидания, Петр Архипыч, – говорю я тепло и пожимаю руку.

– Бывай, не пропадай, – понимающе говорит Архипыч



и хитро мне подмигивает. — Да не переживай ты так, не убивайся! Все с твоей аллергией решится-поправится. Аллергия что — пшик, пустое место! Это не как у меня — сосуд, а добавок — лопнувший.

Иду я дальше и грустно мне еще больше, но не от того, что с Архипычем распрощался, а все по причине той же, что не слышу шелеста тапочек моих. Вновь чувство меня посещает, что и не я это иду вовсе, а другой кто-то, посторонний. Словно завладел этот кто-то телом моим и ногами волосатыми, что идут теперь покорно и позвякивают.

Звонок мрамор коридорный. Много звуков он производит разнообразных. Стучат по нему каблуки туфель. Стучат каблучки чьих-то туфелек. Первый стук мой, а второй... Узнаю я второй этот стук из тысячи других разных стуков. Очень уж приятные ассоциации вызывает он в душе моей и в сердце одиноком.

Оборачиваюсь. Так и есть, не ошибся! Ольга Юрьевна стоит передо мною вся такая хорошенькая, рыженькая, конопатенькая.

— Здравствуйте, Евгений Николаевич, — говорит она тихо и теребит полу халатика своего белоснежного.

— Здравствуйте, Ольга Юрьевна, — отвечаю я. — Здравствуйте и прощайте.

— Выписываетесь? — спрашивает она, и слышу я тревогу в голосе ее приятном.

— Ага, — говорю. — Выписываюсь.

Тут-то Ольга и удивила. Жуликовато озирается она по сторонам, привстает на цыпочки и целует меня прямо в губы, но без языка. Губы у нее мягкие и теплые, молочные какие-то, парные. Неожиданно это все, но хорошо очень, словно миллион я выиграл в лотерею государственную или наследство получил неположенное. Захотелось мне прижать Оленьку покрепче и всю усыпать поцелуями горячими, раскаленными. Вместо этого отстраняюсь я и говорю:

– Лишнее это, Ольга Юрьевна. Пустое.

Смотрит она непонимающе, обиженно даже.

– Зачем вы так, Евгений Николаевич? Зачем ты так, Женя?

Удивительно мне, что именно сегодня впервые сказала мне Ольга «Женя», но молчу я. Нет у меня слов для женщины этой, пусто во внутренностях моих, сгорело там все, оплавилось, растеклось. Понимаем мы оба, что поздно знакомство наше состоялось. Ничего из него не вырастет хорошего, не проклюнется росток зеленый, в дерево не превратиться и плодов не даст.

– Мы ведь с вами встретимся еще? – спрашивает она наконец, и глубокую надежду улавливаю я в этом вопросе.

– Ага, – говорю. – Встретимся.

– Скоро?

– Ага, – говорю. – Скоро.

– До свидания тогда, Женя. И говори мне, пожалуйста, «Оля». Ведь не старая же я еще и не страшная?!

– Хорошо, Ольга Юрье... то есть Оля.

Смотрит она на меня и улыбается, но печально как-то, не по настоящему. Словно не верит в услышанное. Улыбаюсь я в ответ и долго еще наблюдаю за тем, как уходит Оленька по коридору, как движутся ножки ее и стучат по мрамору каблучки.

Цок-цок-цок...

Засмотрелся я на вояж этот завлекательный, задумался. Вдруг – удар! Кто-то пихает меня в грудь, да сильно так, жестко, что сбивается дыхание мое и кашель вылезает наружу.

Кашляю я, смотрю недовольно, а это Семеныч, электрик больничный взлохмаченный весь, небритый и неаккуратный. Тоже он, видать, засмотрелся, задумался, вот и воткнулся мне в грудь головою. В руках у него чемоданчик с инструментом, под мышкой – шахматная доска.

– Выписываешься, Женька? – спрашивает он вместо извинений.

– Ага, – говорю. – Выписываюсь.

– Ну, удачи тебе, – говорит Семеныч и добавляет мечтательно. – Может партийку? Так, на прощаньице?

– Нет, – говорю. – Не хочется что-то.

– Да ну тебя! – обижается Семеныч и убегает на поиски очередной жертвы ферзей и коней, сам похожий в мгновения эти на диковинного волка, голодного и тощего.

Иду я к выходу и кашляю, а мысли всякие в голову залета-

ют, кружатся. Но не о том я думаю, что бросить пора курить, не о том, что хамло этот Семеныч и жлоб. Не о том даже, что Оленька мне подсказала, раскрывшись почти и в чувствах признавшись. О шелесте я вспоминаю отсутствующем, что тапочки мои производили, но не производят более.

Долго ли шел я или скоро, неважно. Добрались наконец ноги мои до выхода, до дверей стеклянных, двухстворчатых, сквозь которые кусок улицы виднеется, аллея с тополями подстриженными и гулкими автомобилями блестящими. Сквозь двери эти увидел я листочки народившиеся, чистенькие такие и зелененькие, как долларовые купюры. Людей разглядел, улыбающихся и юных, влюбленных каких-то, ярких и радостных. И стало мне в это минуту еще грустнее, еще гадостнее и по-нехорошему противнее. Зависть меня обуяла, черная, как уголь каменный. Понял я, что никогда мне больше не пройти вот так по аллее с юной девушкой в меня влюбленной и мною любимой...

Остановился я. Нос почесал, пробежался пальцами по волосам неподстриженным, сединою потрепанным. Вздохнул тяжело, выдохнул и отправился на выход.

Так бы и вышел я на воздух и свет, к парочкам, листочкам и автомобилям. Нет же! Взгляд мой любознательный, разуму неподвластный зацепился за деталь одну незначительную, к человеку относящуюся. Заметил взгляд мой, как стоит около стойки регистратуры никто иной, как Антон Борисович, врач лечащий, незаслуженно кулаками битый. Нос

у него распухший весь, красный и толстый. Пластырь на нем прилеплен телесного цвета, прямо посреди переносицы.

Совестно мне стало от картины этой непорядочной, стыдно очень, прямо до покраснения. Подхожу я к нему с видом самым виноватым и пристыженным очень.

– Извините, Антон Борисович, – говорю я и протягиваю руку, ту самую, которой нос ему раскровянил. – Бес меня вчера попутал, дьявол самолично руку мою направлял, пальцы в кулак сжимал.

– Не паясничайте, Зыкин! – буркает он недовольно и очечки привычно поправляет. – Спасибо бы лучше сказали, что в милицию на вас заявления не написал.

– И вовсе я не паясничаю, – отвечаю. – Мне ведь и правда совестно, за поступок вчерашний, темпераментный.

– Ладно, бывает, – говорит доктор и пожимает протянутую ладонь.

Рукопожатие липко и мягко, но для меня и это подарок. Простил все-таки. Хороший он человек, Антон Борисович. Пьющий, но правильный. Да и доктор такой. Настоящий.

– Прощайте, Борисыч, – говорю я и вздыхаю тяжело. – Прощайте и еще раз простите.

– Ладно уж, Зыкин, – говорит он и от чего-то краснеет. – А над словами моими подумайте, поразмышляйте...

Глянул я на доктора исподлобья, развернулся и пошел, стуком металлическим шаги свои сопровождая.

«Может и прав он, доктор этот? Но нет же! Нет!»

Отмахнулся я от мыслей таких некачественных, с крыльца спустился. Никто меня не встречал, не приветствовал. Детки мои дорогие-любимые в школе сейчас сидят, на занятиях, а больше никого у меня и нету.

Автомобиль свой иностранный, в европейской стране изготовленный оставил я на стоянке платной. Три недели стоит он там, скушает, выписки моей дожидаясь.

К сторожу я подошел сперва, поздоровался. Сообщил, что забираю коня своего железного. Квитанцию получил. Сел в машину, но долго не заводил двигатель. Руками вцепился я в колесо рулевое, сжал пальцы да так сильно-сильно, что кровь на ладонях выступила. Ожидаемая боль не заставила ждать своего появления. Отрезвила она, убрала лишнее, венником подмела мусор в голове моей, гадостями всякими забитой и заваленной...

Вставил я ключ в замок зажигательный, крутанул, поехал привычной дорогой, сквозь пробки знакомые, гудки наглые и злые лица чужих людей.

И вот я дома. Ничего за время отсутствия моего не изменилось здесь, не испортилось. Дом наш осиротевший детки мои держали в чистоте и порядке образцовом.

Заглянул я в ванную комнату, руки помыл и лицо сполоснул водою холодной. Сбросил одежду уличную, в шорты черные и футболку растянутую облачился. Из сумочки больничной достал тапочки, на ноги одел. И хорошо мне вдруг стало так, покойно! Словно вернули меня тапочки эти на землю

грешную, многострадальную.

Прошелестел я на кухню и чайник включил. Заглянул в холодильник и убедился, что полон он продуктами и детки мои не голодают. Радость я испытал неподдельную от простого этого обстоятельства.

«Слава Богу, – подумал я. – Слава тебе, Боже, что деньги у меня пока имеются, не кончаются. Благодарю тебя, что дал мне возможность в свое время подзаработать, в командировках северных, на берега зимних морей далеких. Да и детки мои бережливые очень, расчетливые, понимающие. Лишнюю копейчку не потратят они, зная о том, что не из воздуха деньги появляются».

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.